

Книга I. Ребенок

- I. Моя мать
- II. Семья

I. Моя мать

Кормила ли меня мама? Или меня вскармливала крестьянка? Я не знаю. Какую бы грудь я ни сосал, я не помню ни одной ласки из тех времен, когда я был совсем маленьким: меня не баловали, не поглаживали, не целовали; меня часто били розгами.

Моя мать говорит, что детей нельзя баловать, и она бьет меня розгами каждое утро; когда у нее нет времени утром, то в полдень, редко позже четырех часов.

Мадемуазель Баландро добавляет туда жир.

Это добрая старая дева лет пятидесяти. Она живет этажом ниже нас. Сначала она была довольна: так как у нее нет часов, это давало ей время. «Влин! Влан! Зон! Зон! — вот маленького Чоза бьют; пора готовить мой кофе с молоком»

Но однажды, когда я поднял свою юбку, потому что мне было слишком жарко, и вышел подышать воздухом между двумя дверями, она меня увидела; ей стало жалко мою задницу.

Сначала она хотела показать её всем, собрать соседей вокруг; но она подумала, что это не способ спасти её, и придумала что-то другое. Когда она слышит, как моя мама говорит мне: «Жак, я тебя отшлепаю!

— Мадам Вингтрас, не утруждайтесь, я сделаю это за вас.

— О! Дорогая мадемуазель, вы слишком добры!»

Мадемуазель Баландро уводит меня; но вместо того, чтобы отшлепать меня, она хлопает в ладоши; а я кричу. Вечером мама благодарит свою замену.

«К вашим услугам», — отвечает храбрая девушка, тайком суя мне конфетку. Мое первое воспоминание связано, таким образом, с поркой. Второе — полно удивления и слез.

Это происходит у угла костра из хвороста, под камином старого камина; мама вяжет в углу; моя кухня, которая служит горничной в бедном доме, расставляет на обглоданных досках несколько блюд из голубой фаянсовой посуды с петухами с красными гребнями и голубыми хвостами.

У отца в руке нож, и он вырезает кусок ели; стружки падают желтые и шелковистые, как лоскутки лент. Он делает мне тележку из полосок свежего дерева. Колеса уже вырезаны; это кружки картофеля с кружком коричневой кожуры, которая служит колесным диском... Тележка вот-вот будет готова; я жду, взволнованный и с широко раскрытыми глазами, когда мой отец вскрикивает и поднимает руку, полную крови. Он вонзил нож себе в палец. Я бледнею и иду к нему; меня останавливает сильный удар; это мать ударила меня, с пеной у

рта, сжав кулаки.

«Это твоя вина, что отец поранился!»

И она выгоняет меня на темную лестницу, снова ударив лбом об дверь. Я кричу, прошу пощады и зову отца: я вижу, в своем детском ужасе, его руку, висящую, всю изрезанную; это я в этом виноват! Почему мне не позволяют войти, чтобы узнать? Потом меня побьют, если захотят. Я кричу, мне не отвечают. Я слышу, как переставляют графины, как открывают ящик; накладывают компрессы.

«Ничего страшного, — говорит мне кузина, —» складывая полотенце, испачканное кровью.

Я рыдаю, задыхаюсь: появляется мама и толкает меня в комнату, где я сплю, где я боюсь каждую ночь.

Мне, наверное, пять лет, а я считаю себя отцеубийцей.

Но ведь это не моя вина!

Разве я заставил отца сделать эту тележку? Разве я не предпочел бы, чтобы кровоточил я сам, а ему не было больно?

Да — и я царапаю себе руки, чтобы мне тоже было больно.

Дело в том, что мама так любит моего отца! Вот почему она вышла из себя. Меня учат читать по книге, где крупными буквами написано, что нужно слушаться отца и мать: мама поступила правильно, когда меня отшлепала.

Дом, в котором мы живем, находится на грязной улице, по которой трудно подниматься, с вершины которой открывается вид на всю округу, но по которой не проезжают экипажи. Туда добираются только телеги с дровами, запряженные волами, которых подгоняют кнутом. Лоб опущен, шея вытянута, ноги скользят; языки у них висят, а кожа дымится. Я всегда останавливаюсь, чтобы посмотреть на них, когда они везут вязанки и муку к пекарю, который находится на полпути; я одновременно смотрю на белоснежные буханки и большую красную печь — их загружают в печь большими лопатами, и пахнет корочкой и углями!

Тюрьма находится в конце улицы, и жандармы часто ведут заключенных в наручниках, которые идут, не глядя ни вправо, ни влево, с неподвижным взглядом и больным видом.

Женщины дают им мелочь, которую они сжимают в руках, склоняя голову в знак благодарности.

Они совсем не выглядят злобными.

Однажды одного из них увезли на носилках, полностью накрытого белой простыней; он перерезал себе запястье пилой после того, как совершил кражу; он потерял столько крови, что все думали, что он умрет.

Мне всегда хочется смеяться, когда мы молимся! Как бы я ни старался сдерживаться, я молю Бога, прежде чем опуститься на колени, клянусь Ему, что смеюсь не над Ним, но как только я опускаюсь на колени, это сильнее меня. У моего дяди есть бородавки, которые чешутся, и он их чешет, а потом кусает; я просто взрываюсь от смеха. — Моя мама, к счастью, не всегда это замечает, но Бог, который видит все, что он может подумать?

Но я не смеялся на днях! Мы ужинали дома с моей тетей из Вурзака и моими дядями из Фаррероля; мы как раз ели пирог, когда вдруг потемнело. Нам было жарко все время, мы задыхались, и мы сняли одежду. Вдруг загредел гром. Дождь лил как из ведра, крупные капли шлепали по пыли. В воздухе чувствовалась прохлада, как в погребке, и запах пороха; на улице ручей бурлил, как кипящая вода, а потом стекла зазаскрипели: пошел град.

Мои дяди и тётки переглянулись, и один из них встал; он снял шляпу и начал читать молитву. Все стояли с непокрытыми головами, с молодыми или старыми лицами, полными печали. Они молили Бога не быть слишком жестоким к их полям и не убивать своим белым свинцом их цветущие урожаи.

В тот момент, когда все сказали «Аминь», градина пролетела через окно и попала в стакан.

Мы родом из деревни:

Мой отец — сын крестьянина, который гордился своим сыном и хотел, чтобы тот учился на священника. Сына отдали к дяде-священнику, чтобы он выучил латынь, а потом отправили в семинарию.

Мой отец — тот, кто должен был стать моим отцом, — не остался там, захотел получить степень бакалавра, добиться почестей и поселился в маленькой комнате в глубине темной улицы, откуда он выходит днем, чтобы давать несколько уроков за десять су за час, и куда возвращается вечером, чтобы ухаживать за крестьянкой, которая станет моей матерью и которая на данный момент выполняет свои обязанности преданной племянницы у постели больной тети.

Из-за этого мы ссоримся с дядей-священником, прощаемся с церковью; мы любим друг друга, мы «согласны», мы женимся! Мы также в плохих отношениях с отцом и матерью, которым пришлось выносить предупреждения, чтобы довести до конца этот брак, рожденный бедствием и нищетой.

Я — первый ребенок этого благословенного союза. Я появился на свет в старой деревянной кровати, в которой обитают деревенские клопы и семинарские блохи.

Дом принадлежит пятидесятилетней даме, у которой осталось всего два зуба, один коричневый, а другой синий, и которая всегда смеется; она добрая, и все ее любят. Ее муж утонул, делая вино в чане; это заставляет меня много мечтать и вызывает у меня большой страх перед чанами, но и большую любовь к вину. Оно должно быть очень хорошим, раз господин Гарнье — так его зовут — выпил его до самой смерти. Госпожа Гарнье каждое воскресенье пьет это вино, которое пахнет мужчиной, которого она любила: ботинки покойного тоже стоят на доске, как две пустые кружки.

В доме, где я живу, неплохо пьянствуют.

Один священник, живущий по соседству, никогда не встает из-за стола, не выпучив глаз, не облив щеки потом и не покраснев в ушах. Из его рта вырывается дыхание, пахнущее бочкой, а нос его похож на облущенный помидор. Его breviарий пахнет мателоттом.

У него есть служанка, мадемуазель Анриетта, на которую он смотрит косо, когда выпьет. Иногда о ней и о нем шепчутся по углам.

На втором этаже живет месье Грелен. Он лейтенант пожарных, и в день Троицы он командует на площади. Месье Грелен — архитектор, но говорят, что он в этом ничего не смыслит, что «именно из-за него Бреюиль всегда полна воды, что он обошёлся городу в 50 000 франков и что, если бы не его жена... » Говорят, не знаю что, о его жене. Она милая, с большими черными глазами, маленькими белыми зубами, небольшими усами над губой; она всегда раздувает юбку и стучит каблуками, когда идет.

У нее южный акцент, и мы иногда развлекаемся, подражая ей.

Говорят, что у нее есть «любовники». Я не знаю, что это такое, но я точно знаю, что она добра ко мне, что она, мимоходом, похлопывает меня по щекам, и что мне нравится, когда она меня целует, потому что от нее пахнет приятно. Люди в доме, кажется, немного избегают ее, но не показывают этого.

«Так вы говорите, что у нее все хорошо с помощником?»

— Да, да, как нельзя лучше!

— Ах! ах! а этот бедный Грелен?»

Я слышу это время от времени, и мама добавляет слова, которых я не понимаю.

«Мы, честные женщины, умираем с голоду. А этим тут места для мужей находят, платья для праздников дарят!».

Разве мадам Грелен не порядочная? Что она делает? В чем дело? Бедный Грелен!

Я был бы гораздо счастливее, будь я сыном Грелена: но вот в чем дело! Заместитель пришёл бы к нам, когда мама осталась бы одна... Мне бы это было совершенно всё равно.

Мадам Тюлье живёт на третьем этаже: вот это честная женщина!

Мадам Тюлье приходит к нам с рукоделием, и она с мамой болтают о соседях снизу, о соседях сверху, а также о соседях из Рафаэля и Эспайли. Мадам Тюлье, когда ее замужем, у нее волосы в ушах, на ногах мозоли; она честнее мадам Грелен. Она глупее и уродливее тоже.

Какие еще воспоминания у меня остались о моей жизни маленького ребенка? Я помню, что зимой птицы прилетают к окну клевать снег; что летом я пачкаю свои штанишки во дворе, где воняет; что в глубине погреба один из жильцов откармливает индюшек. Мне позволяют лепить шарики из влажной крупы, которыми их набивают, и они задыхаются. Моя величайшая радость — видеть, как они задыхаются, синеют. Похоже, я люблю синий цвет!

Моя мать часто появляется, чтобы схватить меня за уши и отшлепать. Это для моего же блага; поэтому чем больше она вырывает у меня волос, чем больше она меня шлепает, тем больше я убеждаюсь, что она — хорошая мать, а я — неблагодарный ребенок.

Да, неблагодарный! Ведь иногда вечером, почесывая свои шишки, я не начинаю благословлять ее, и только в самом конце молитвы я прошу Бога сохранить ей здоровье, чтобы она могла присматривать за мной и продолжать заботиться обо мне.

Я уже большой, я хожу в школу.

О! Какая прекрасная маленькая школа! О! Какая прекрасная улица! И какая оживленная в ярмарочные дни!

Ржущие лошади; хрюкающие свиньи, волочащиеся с веревкой на лапе; куры, громко кричащие в клетках; крестьянки в зеленых фартуках и алых юбках; голубые сыры, свежие томы, корзины с фруктами; розовый редис, зеленая капуста!...

Рядом со школой была гостиница, и туда часто разгружали сено.

Сено, в которое мы погружались по шею, из которого вылезали взъерошенные и потные, с травинками, застрявшими в шее, на спине, на ногах и колющими, как иголки!...

В стоге терялись книги, маленькая корзинка, ремень, галош... Все радости праздника, все волнения опасности... Какие минуты!

Когда проезжает телега с сеном, я снимаю шляпу и иду за ней.

II. Семья

Две тети со стороны моей матери: тётя Розали и тётя Мариу. Последнюю мы называем «тётя»; не знаю почему, может быть, потому что она более ласковая. Я всегда вижу её широкий, белый и мягкий смех на её смуглом лице: она худая и довольно изящная, она — настоящая женщина.

Моя тетя Розали, старшая из них, огромная, немного сгорбленная; она похожа на кантора; она напоминает отца Жошара, пекаря, который по воскресеньям напевает вечерню и начинает петь гимны, когда мы идем Крестным путем. Она — мужчина в своей семье; ее муж, мой дядя Жан, не в счет: он довольствуется тем, что чешет маленькую бородавку, которая играет роль родинки на его морщинистом, натянутом, изможденном лице. — С тех пор я заметил, что у многих крестьян такие лица — хитрые, старомодные, острые; в их жилах течет кровь театра или двора, заблудившаяся в какой-то праздничный вечер или во время комедии в сарае или таверне, и они пахнут актером, бывшим дворянином, старым аристократом сквозь запахи свинарника и навоза: сжатые своим происхождением, они остаются хрупкими под ярким солнцем.

А муж старухи Мариу — настоящий пастух! Красивый светловолосый земледелец, пять футов семь дюймов ростом, без бороды, но с блестящими волосами на шее, круглой, тучной, золотистой; у него кожа цвета соломы, глаза как васильки и губы как маки; он всегда ходит с приоткрытой рубашкой, в желтом полосатом жилете, и его большая трехцветная шляпа из шенилла никогда не сходит с головы. Я видел таких богов полей в пейзажах художников.

Две тети со стороны отца.

Моя тетя Мели немой, — при этом болтливая, болтливая!

Ее глаза, лоб, губы, руки, ноги, нервы, мышцы, плоть, кожа — все в ней шевелится, болтает, спрашивает, отвечает; она засыпает вас вопросами, требует ответов; ее зрачки расширяются, гаснут; щеки надуваются, втягиваются; нос подпрыгивает! она трогает вас то тут, то там, медленно, резко, задумчиво, безумно; нет возможности закончить разговор. Нужно быть на месте, иметь знак на каждый знак, жест на каждый жест, ответы, остроту, смотреть то в небо, то в погреб, ловить ее мысль как можно, за голову или за хвост, одним словом, отдаваться целиком, в то время как с сплетницами, у которых есть язык, мы лишь прислушиваемся: ничто не болтливо, как глухонемой.

Бедная девочка! Она не смогла выйти замуж. Это было неизбежно, и она с трудом живет на доходы от ручной работы; не то чтобы ей чего-то не хватало, по правде говоря, но она кокетка, эта тетя Амели!

Надо услышать ее тихое ворчание, увидеть ее жесты, проследить за ее взглядом, когда она примеряет головной убор или косынку; у нее есть вкус: она умеет приколоть розочку к уху, и

подобрать ленту, которая лучше всего подойдет к ее лифу, рядом с сердцем, которое хочет заговорить...

Прабабушка Агнес.

Ее называют «блаженной».

Есть целый мир старых дев, которых так называют.

«Мама, что значит «блаженная»?

Моя мама ищет определение и не находит его; она говорит о посвящении Деве Марии, об обетах невинности.

«Невинность. Моя двоюродная бабушка Агнес олицетворяет невинность? Так вот как выглядит невинность!»

Ей уже за семьдесят, и у нее, наверное, седые волосы; я не знаю, никто не знает, потому что она всегда носит черную повязку, которая прилипает к ее черепу, как тафта; у нее, например, седая борода, пучок волос здесь, маленькая прядь, которая вьется там, и со всех сторон луковицы, похожие на смородину, которые, кажется, кипят на ее лице.

Точнее говоря, ее голова похожа на картофелину, обожженную сверху из-за черной повязки, а снизу — на брошенную картофелину; я нашла одну опухшую, фиолетовую, на днях утром под печью, которая была похожа на прабабушку Агнес, как две капли воды.

«Желания невинности».

Моя мама так хорошо себя ведет, но так плохо объясняется, что я начинаю верить, что быть блаженной — это нечистоплотно, и что им чего-то не хватает, или что у них чего-то слишком много.

Блаженные?

Их четверо, «блаженных», живущих вместе — не все с огненно-красными луковичками на коже цвета пепла, как у прабабушки Агнес, которая кокетка, но все с небольшими усами или бакенбардами, небольшими щечками и неизбежным ободком на голове, черным пластырем!

Меня туда посылают время от времени.

Это в конце пустынной улицы, где растет трава.

Прабабушка Агнес — моя крестная мать, и она обожает своего крестника.

Она хочет сделать меня своим наследником, оставить мне все, что у нее есть, — только не свою повязку на голове, надеюсь.

Говорят, она хранит несколько старых монет в старом чулке, и когда речь заходит о соседке, у которой на дне маслянки нашли мешок с эку, она хихикает про себя.

Мне не очень весело у неё, пока мы ищем её масленку!

В этой большой комнате темно — это что-то вроде чердака, поддерживаемого балками, которые выглядят как старые пробки, настолько они изъедены и заплесневелы!

Окно выходит во двор, откуда доносится запах выжженной грязи.

Мне нравятся только занавески на кровати — их достаточно, чтобы меня развлечь; на них нарисованы человечки, собаки, деревья, свинья; они нарисованы фиолетовым цветом на ткани, это один и тот же мотив, повторенный сто раз. Но мне весело рассматривать их со всех сторон, и я вижу, прежде всего, всевозможные вещи на занавесках моей двоюродной бабушки, когда я прячу голову между ног, чтобы на них посмотреть.

Охота — это и есть сюжет — кажется мне разноцветной. Еще бы! Кровь приливает мне к лицу; у меня в голове все как на дне бочки: это апоплексия! Я вынужден вытаскивать голову за волосы, чтобы подняться, и ставить ее ровно, как пустую бутылку. Молятся то тут, то там: «Аминь! Аминь!» — перед ревенем и после яйца.

Ревень — это основа обеда, который мне предлагают, когда я прихожу к благочестивой даме; мне дают один сырой и один вареный.

Я скребу сырой, который, кажется, пенится под ножом и на языке имеет ореховый вкус и холод снега.

Я с меньшим удовольствием кусаю то яйцо, которое приготовлено на огне грелки, которую тетя всегда держит между ног и которая является незаменимым предметом мебели для благочестивых женщин. — Восемь ног благочестивых женщин: четыре грелки — которые летом служат шкатулками для ниток, а зимой они переворачивают в них угли своим ключом.

Время от времени появляется яйцо.

Это яйцо вытаскивают из мешка, как лотерейный билет, и варят в скорлупе, бедняжка! Это настоящее преступление, яйцеубийство, ведь внутри всегда находится маленький цыпленок.

Я ем этот зародыш с благодарностью, потому что мне сказали, что не все его едят, что я обладаю редкостью, но без энтузиазма, потому что я не люблю недоразвитый зародыш в виде сухариков и цыпленка, которого едят ложечкой.

Зимой благочестивые женщины работают с шаром: они ставят свечу между четырьмя шарами, наполненными водой, что дает белый, короткий и яркий свет с золотыми отблесками.

Летом они выносят свои стулья на улицу, на порог, и плитки следуют за ними.

С зелеными повязками, розовыми лентами, булавками с жемчужными головками, с нитками, похожими на серебряные слюноотечения на букете, с видом богатого лифа, с болтливymi веретенами, вышивка — это маленький мир жизни и веселья.

Надо услышать, как он болтает на коленях кружевниц, на улицах благочестивых женщин, в жаркие дни, на пороге безмолвных домов. Шум улья или ручья, как только их становится всего пять или шесть, — а когда бьет полдень, наступает тишина!...

Пальцы останавливаются, губы шевелятся, произносят короткую молитву «Ангелус». Когда та, кто ее произносит, заканчивает, все меланхолично отвечают: «Аминь!» — и квадратики снова начинают болтать...

Мой дядя Жозеф, мой «тонтон», как я его называю, — крестьянин, ставший рабочим. Ему двадцать пять лет, и он силен, как бык; он похож на органиста: смуглая кожа, большие глаза, широкий рот, красивые зубы; очень черная борода, густая шевелюра, шея моряка, огромные руки, все покрытые бородавками, — этими знаменитыми бородавками, которые он чешет во время молитвы!

Он — член профсоюза, у него большая трость с длинными лентами, и он иногда берет меня с собой к Матери столяров. Мы пьем, поем, показываем фокусы, он берет меня за пояс, подбрасывает в воздух, ловит и снова подбрасывает. Мне и весело, и страшно! Потом я забираюсь на колени товарищам; я трогаю их метры и циркули, пробую вино, от которого у меня болит голова, ударяюсь о шедевры, опрокидываю доски и выбиваю себе глаз об их большие воротнички, царапаюсь об их серьги. У них есть серьги.

«Жак, тебе веселее с этими «господами из бакалавриата», чем с нами?»

— О! нет!»

Он называет «господами из бакалавриата» учителей, профессоров, преподавателей латыни или рисования, которые иногда приходят к нам домой и все время говорят о колледже; в этот день мне величественно приказывают сидеть тихо, мне запрещают класть локти на стол, я не должен шевелить ногами, и я ем жир тех, кто его не любит! Мне очень скучно с этими господами из бакалавриата, а с плотниками я так счастлив!

Я сплю рядом с дядей Жозефом, и он никогда не засыпает, не рассказав мне сказок — он их знает полно, — а потом отступает, положив руки на живот. Утром он учит меня наносить удары кулаками и приседает, чтобы я мог бить его по большой груди; я пробую и удары ногами, но почти всегда падаю.

Когда я ушибаюсь, я не плачу, иначе мама придет.

Он уходит утром и возвращается вечером.

Как же я жду его! Я считаю часы, когда он уже скоро вернется.

После ужина он берет меня на руки и уносит в свою маленькую мастерскую внизу, где он работает на себя по вечерам, напевая песенки, которые меня веселят, и бросая мне в лицо стружки; я затушаю свечу, а он позволяет мне макать пальцы в его лак.

Иногда к нему приходят друзья, чтобы поболтать с ним, стоя с руками в карманах, прислонившись плечом к двери. Они дружат со мной, и мой дядя очень гордится: «Он уже знает все буквы. — Жак, назови алфавит!»

Однажды дядя Жозеф уехал.

Это была печальная история!

У мадам Гарнье, вдовы пьяницы, утонувшего в своей бочке, была племянница, которую она привезла из Бордо после той катастрофы.

Высокая брюнетка с огромными глазами, черными, совсем черными и горящими; она заставляет их двигаться, как я заставляю двигаться в кабинете разбитое зеркало, чтобы бросать блики; они катятся по углам, поднимаются к небу и уносят тебя с собой.

Говорят, я безумно влюбился в нее. Я говорю «кажется», потому что помню только одну сцену страсти, ужасной ревности.

И на кого?

На самого дядю Жозефа, который ухаживал за мадемуазель Селиной Гарнье, как-то ухитрился, я не знаю как, но в конце концов сделал ей предложение и женился на ней.

Любила ли она его?

Сегодня я не могу ответить на этот вопрос; сегодня, когда к мнению вернулся разум, когда время насыпало свой снег на эти глубокие эмоции. Но тогда — в тот момент, когда мадемуазель Селина выходила замуж, я был ослеплен страстью.

Она собиралась стать женой другого! Она отвергала меня, такого невинного. Я еще не знал, в чем разница между дамой и господином, и верил, что дети рождаются под капустой.

Когда я бывал в огороде, мне случалось пристально смотреть; я бродил среди овощей, думая, что и я тоже могу стать отцом...

Но все же я вздрагивал, когда тетя похлопывала меня по щекам и говорила со мной на бордоском диалекте. Когда она смотрела на меня определенным образом, у меня замирало сердце, как в тот день, когда на Бреюи я залез на ярмарочную качель.

Я был уже взрослым: мне было десять лет. Вот что я ей говорил:

«Не выходи замуж за моего дядю Жозефа! Скоро я стану мужчиной: подожди меня, поклянись, что будешь ждать! Это же для смеха, да? Сегодняшняя свадьба?»

Это было вовсе не для смеха; они действительно поженились, и оба уехали.

Я видел, как они исчезли.

Моя ревность не давала мне спать. Я услышал, как повернулся ключ.

Этот ключ скрутил мне сердце! Я прислушивался, я стоял на страже. Ничего! Ничего! Я почувствовал, что я потерян. Я вернулся в банкетный зал и пил, чтобы забыть.

С тех пор я не смел смотреть дяде Жозефу в глаза. Однако, когда он пришел к нам накануне своего отъезда в Бордо, он ни словом не обмолвился о нашей соперничестве и попрощался со мной с нежностью дяди, а не с обидой мужа!

Есть еще моя кузина Аполлония; ее зовут Полония.

Вот так называли свою дочь эти крестьяне!

Дорогая кузина! Высокая и медлительная, с глазами цвета барвинка, длинными каштановыми волосами, плечами цвета снега; свежая шея, которую пересекает блестящая чернота бархата, держащего золотой крест; нежная улыбка и протяжный голос, становящийся розовым, как только она смеется, и красным, как только на нее смотрят. Я пожираю ее глазами, когда она одевается — не знаю почему — я чувствую себя странно, глядя, как она зубами удерживает и подтягивает на круглое плечо сползающую рубашку в те дни, когда она спит в нашей маленькой комнате, чтобы первой оказаться на рынке со своими твердыми и белыми кусками масла, похожими на мидии, которые у нее на груди. Масло из Польши у нас скупают.

Иногда она подходит, чтобы пощекотать мне шею, угрожая мне своими длинными пальцами. Она смеется, ласкает меня и целует; я обнимаю ее, защищаясь, и однажды укусил ее; я не хотел ее кусать, но не мог удержаться от того, чтобы стиснуть зубы, так как ее кожа пахла малиной... Она крикнула мне: «Маленький злодей!» — и слегка ударила меня по щеке, чуть сильнее, чем следовало; я подумал, что сейчас потеряю сознание, и вздохнул, отвечая ей; я чувствовал, как сжимается грудь, а взгляд становится мягче.

Она ушла, чтобы снова улечься в постель, сказав, что простудилась. Сзади она похожа на белого жеребенка, на котором ездит сын префекта.

Я думал о ней всё время, пока делал домашнюю работу.

Иногда я долго её не вижу — она присматривает за домом в деревне, а потом вдруг появляется однажды утром, словно порыв ветра.

«Это я, — говорит она, — я приехала за тобой, чтобы отвезти тебя к нам! Если ты хочешь поехать!»

Она целует меня! Я трусь мордой о ее розовые щеки и погружаю ее в ее белую шею, провожу по ее горлу с синеватыми прожилками!

Все тот же запах малины.

Она отправляет меня, и я бегу собирать свои вещи и переодевать рубашку.

Я надеваю зеленый галстук и краду у мамы мазь, чтобы и я пахнул хорошо, и чтобы она прижалась головой к моим волосам!

Мой узелок готов, я намылен и в галстук: но, глядя на себя в зеркало, я нахожу себя совсем уродливым и снова взъерошиваю волосы! Я засунул галстук на дно кармана и, с расстегнутым воротником и сползшей кепкой, бегу за еще одним поцелуем. Мне было щекотно; я ей не говорил.

Конюх хлопнул по крупу лошади, желтой лошади с клочками шерсти у копыт; это лошадь моей бабушки Мариу, на которую садятся, когда нужно перевезти слишком много масла или продать голубой сыр. Животное идет рысью та-та-та, та-та-та! совсем напряженно; кажется, что у нее сейчас сломается шея, а грива цвета мха спадает на ее большие глаза, похожие на овечьи сердца.

Тетя или кузина садятся на нее, как мужчины; икры моей тети худые, как черные веретена, а у кузины кажутся пухлыми и мягкими в белых шерстяных чулках.

Давай же! Хо, хо!

Это Жан дергает за поводья и заставляет лошадь поворачивать; он получил свою порцию овса и ржет, поджимая губы и показывая желтые зубы.

Вот он уже оседлан.

«Подайте мне Жакено», — говорит Польша, которой удалось опустить на колени свою юбку из футана и устроиться всем телом на блестящей коже седла. Она помогает мне сесть на крупу.

Я на месте!

Но тут мы замечаем, что я забыл свою одежду, свернутую в тряпку, на столе в таверне, покрытом кругами от вина, вокруг которых кружат мухи.

Ее приносят.

«Жан, привяжите ее. Мой маленький Жакену, обними меня за талию, крепко прижмись ко мне».

У бедной лошади сухая шерсть и твердые кости; но в этот момент я понимаю, что то, о чем говорится в басне, которую нас заставляют рассказывать, — правда.

Бог делает то, что делает, не зря!

Мать, хлеща меня, закалила меня и загрубила мою кожу.

«Обними, говорю тебе! Обними меня крепче!»

И я обнимаю ее под ее косынкой, расписанной мелкими цветочками, похожими на золотых жуков, я чувствую тепло ее кожи, я прижимаюсь к нежности ее плоти. Мне кажется, что эта плоть уплотняется под моими прижатыми пальцами, и только что, когда она посмотрела на меня, повернув голову, с приоткрытыми губами и напряженной шеей, кровь прилила мне к голове, обжигая волосы.

Я немного ослабил объятия на улице Сен-Жан. Там проходит скот, и мы шли шагом. Я был очень горд. Мне казалось, что на меня смотрят, и я притворялся, что умею ездить верхом: я поворачивался на крупе, опираясь ладонью, ударял пятками по бедрам и говорил «г-и!» как лошажник.

Мы пересекли пригород, миновали последнего седельщика.

Мы в Эспайли!

Больше нет домов! За исключением нескольких на полях; цветы, вьющиеся по стенам, как бутоны роз вдоль белого платья; холм с виноградниками, а внизу — река, которая тянется, как змея, под деревьями, окаймленная полосой желтого песка, более мелкого, чем сливки, и усыпанная камешками, сверкающими, как бриллианты.

Вдали — горы. Их черные хребты, покрытые зеленой шерстью елей, перерезают голубое небо, по которому плывут облака, словно шелковые хлопья; птица, наверное, какой-то орел, сильно взмахнула крыльями и зависла в воздухе, как ядро на конце нити.

Я всегда буду помнить эти темные леса, дрожащую реку, теплый воздух и большого орла...

Я забыл, что я был сердцем, бьющимся у самой спины Польши. Сама моя кузина, казалось, ни о чем не думала, и я не помню, чтобы слышал что-либо, кроме шагов лошади и мычания коровы...